



А. К. ЗАКРЖЕВСКИЙ

Религия. Психологические параллели. В. В. Розанов

Когда я думаю об интереснейшем русском религиозном мыслителе — В. В. Розанове — мне часто приходит на ум сравнение его мирозерцания с кирилловской¹ идеей человекобожества. В самом деле: ведь они оба сходятся в одном пункте — в безумном дерзании против смерти во имя торжества и святости человека. Только дерзание Кириллова разрешилось сумасбродным актом самоубийства, а Розанов дерзнул еще дальше: он заявил своеволие свое священным гимном, обоготворяющим и человека, и природу, он тоже понял, что «все — хорошо» и все — свято, он тоже завопил против страдания и смерти, он тоже возвел человека на трон и заявил, что в нем все — божественно, вплоть до слюны и пищеварения!..

И это все — в самое пессимистическое время умирающего христианства, и в самом сердце христианства, из которого он родился и в котором пребывает, ибо, что бы ни говорили, а Розанов от христианства неотделим, даже в самом своем бунте против Христа и церкви — неотделим!

Розанов самый яркий, самый крайний индивидуалист в настоящее время в России. И индивидуалист не повисший над бездной, но удержавшийся над ней. Розанов тем и силен в своем дерзании, что это дерзание, как равно и весь его бунт — всецело религиозны. Это, может быть, единственный бунтовщик не атеист и не «отрицатель» (в пошлом смысле этого слова), а настоящий религиозный человек, и именно благодаря этому — особенно опасный для христианства и особенно даровитый...

Его любят сравнивать с Ницше, но это сравнение крайне поверхностно: Ницше не мог вынести своего бунта, потому что последний был насквозь рационалистичен и потому что сверхчеловек оказался фикцией, распавшейся в прах. Розанов же в своем

собственном бунте находит источник жизни. Он тем и бесстрашен, что его идея чисто религиозна. Ницше же весь вышел из Вольтера. Ницше иссушила его философия, он был бессилен перед жизнью, и Христос победил «сверхчеловека» именно потому, что последний был беззащитен и весь составлен из одних философских терминов... Ницше даже не понимал Христа... Розанов дерзнул именно тем, что в самом обыденном, в самом животном, в самом человеческом нашел свою святую и открыл в ней глубочайшую тайну. Розанов пошел против Христа именно потому, что открыл в христианстве такие тайны, которые еще не открывались ни одному мыслителю в мире (ибо ницшевская критика христианства есть только арифметика), и именно благодаря этим тайнам он понял, что Христос — боль и страх, что Христос — очарование смерти, — и бунт учинил, и освятил человека за его животность, которая должна быть вечна и которая одна только и спасает от смерти...

Кириллов пошел против боли и страха во имя человека, во имя освящения человека. Розанов хотел бы истребить самую идею смерти во имя вечной жизни, не будущей, а настоящей. Для Розанова так же, как и для Кириллова — смерти нет, а есть одна жизнь. Розанов — это самое «живое место» в русском организме, это какой-то вулкан, из которого вечно извергается огнедышащая лава жизни, среди нашего пессимистического времени он кажется ничем необъяснимым архаизмом... Но вместе с тем — он зловещий признак: только перед концом мира может явиться такой безумный апологет жизни во имя самой жизни. В самом его превозношении животности и полового инстинкта кроется что-то уж слишком болезненное, какая-то выходящая из рамок человеческого — жажда, какая-то надорванная животная сила, почти граничащая со смертью, как и у Кириллова...

Кириллов во имя жизни разрушил идею Бога, пошел против Бога и был сам уничтожен. Розанов, хотя и идет против Христа, но он питается Богом, Бог разлит у него во всей природе. Бог у него в поле, в растениях, в животных, он чувствует эту почти чувственную Божию реальность и питается ею. Идет против Христа, в бунте своем достигает утонченнейших бездн, но без Христа жить не может, — и в этом его сила. Вооружается против христианства, называет его скопческой религией, религией смерти, и вместе с тем — по натуре своей истинный христианин, почти единственный искренний христианин в наше время, — и в этом его особенность, в этом его сложность...

Все, что человеческое, все, что является источником жизни — священо. Вот любимая мысль Розанова. Эту мысль носило бес-

сознательно в себе язычество. Язычество вне жизни не могло найти даже кумира себе. Язычество обожествляло кошек, крокодилов, быков, потому что кроме жизни для него не могло быть ничего святого. Язычество — это колыбель человечества и его радостная, безмятежная, младенческая заря. В нем пол был так же священен, как и идолы (культ фаллоса), в нем не было стыда, ибо все было радостно именно детской радостью, радостью невинности. И даже извращенность в язычестве была почти священна. И мало была ведома скорбь... Христос — это одна скорбь, это прорыв сквозь смерть в вечность, это распятие и страдание. Христос нарушил животную радость, он влил в душу сладкую отраву смерти... «Во Христе прогорк мир».

Таковы главные тезисы розановского бунта против христианства. Он развивает их гениально, он еще заставит глубоко призадуматься мудрецов мира сего над христианской идеей. И в этом отношении Розанов — язычник в полном смысле слова, не меньший, чем Юлиан Отступник²... Но Розанов *язычник в христианстве* — и в этом его особенность, в этом же и его трагедия. Он не может выйти за пределы христианства, отрицая его и вооружаясь против него, и эта невозможность почти что физическая... Он не может отвергнуть Христа, окончательно отречься от Него во имя пола и семьи, для него Христос не только высшая красота, но также и высшее чудо. Язычество и христианство в Розанове слиты неотделимо, это два мира, два полюса его души.

Розанов уловил «брачный ритм» жизни, у него все зарождается из брака. У него даже религия есть брак человека с Богом. И от самой церкви он отшатнулся именно потому, что в ней таинство брака неразвито и не получило такого расцвета, как другие таинства. Розанов хотел бы проникнуть через пол к самой главной святыне мира, которая еще не открыта. Для него не существует чуда вне пола. Для него пол — единственное чудо... Поистине, весь Розанов — это реакция против двухтысячелетней бесполости мира в христианстве, против скопчества и аскетизма в христианстве, он — бешеный взрыв замученной природы в цепях христианства, он, может быть — единственный вестник жизни в наше мертвое время... В то время, как все устали и все мертвы, он живет, клокочет, горит, волнуется, раздувая пламя свое. и что-то не русское, языческое, иудейское есть в этом его суетливом желании насытиться до краев жизнью...

В наше время в России не умеют, не хотят, не могут жить, драгоценная влага жизни расплескивается раньше времени и никто ею не дорожит. И только Розанов суетится около чаши жизни, дрожит, когда проливается капля, ему бы хотелось, что-

бы чаша эта была бездонна, ему хотелось бы собрать в нее все живительные соки, все силы, все семена мира и захлебнуться, припав к ней, и пить жадно, пить не так, как все, а как-нибудь особенно, причмокивая, закрывая глаза в блаженстве, вечно замирая в неоскудевающей жажде, вечно радуясь и по-детски ликуя, чтобы это носило характер чего-то священного, праздничного, литургического, чтобы в гимнах своих, в экстазе жажды, в самом процессе этом — забыть, что есть, что будет дно, забыть, что существует смерть!

Я сказал, что Розанов проник в сокровеннейшие тайны христианства. Именно в этом-то и заключается его заслуга и особенность его таланта. И в этом отношении его нужно признать *единственным*: есть талантливые историки христианства, исследователи, критики, но нет ни одного тонкого и проникновенного его психолога, который бы, отрешившись от мешающей в данном случае научности — вскрыл бы перед нами основные, невидимые нервы христианства, о которых никто не имеет понятия, но которые открывают такие истины и дают возможность проникнуть в такие бездны, куда еще не заглядывал ни один человек. Розанов именно такой психолог. Он годами вынашивал свое знание не при помощи науки, длиннейших и скучнейших размышлений и диссертаций, а исключительно посредством своей врожденной интуиции, интуиции художника, интуиции гениальной. Интуиция — вот главное оружие розановской критики, вот главная особенность его творчества. Это именно та интуиция, которую имеет в виду Бергсон³, интуиция, оцупью схватывающая то ускользающее, скрытое за семью печатями, сокровенное в вещах, ту почти мистическую их реальность, которую невозможно схватить посредством разума, которая находится по ту сторону всякой науки и которую постичь научным образом нельзя. Бергсон дал замечательно исчерпывающее определение подобной интуиции в следующих словах: «интуиция есть род интеллектуального вчувствования или симпатии, посредством которой мы проникаем во внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что в нем есть единственного и, следовательно, невыразимого» *...

Но, понимая весь секрет подобного дара интуиции, сознавая, что последняя должна быть вненаучна или, вернее, сверхнаучна и что она должна даже идти против знания — Бергсон, однако, не мог пойти по пути чистого интуитивного знания, ему дорогу преградила научность, и его интуиция, в сущности, не гениаль-

* Анри Бергсон, «Введение в метафизику».

ная и не художественная, а чисто научная и даже узко научная, и хотя она у него претендует на знание без символов, но, в сущности, он без них обойтись не может, и в этом цепь противоречий его философской системы, которая не столько интуитивна, сколько чисто научна... И в этом отношении Розанов нужно признать куда гениальнее Бергсона: Розанов владеет в совершенстве именно тем даром чисто художественной, гениальной интуиции, вскрывающей корни вещей посредством «вчувствования и симпатии», который совершенно отсутствует у Бергсона по причине перевеса научности в его философии над интуицией... Философия Розанова — это художественное творчество, руководствующееся тайной интуиции, интуиции именно внесимволической, как бы обходящей слова, как бы в словах не нуждающейся, ибо слова Розанова — особенные слова, сокровенные, это как бы нежная поверхность плодов, внутри которых заключается драгоценная влага жизни, и язык Розанова — не словесный и слова уничтожающий, это не мысленный язык, а язык чувств и переживаний...

Розанову понадобились многие годы для того, чтобы придти после арифметики христианства, которая понятна всем и которую знают все — к логарифмам христианства и к его высшей математике — знания сокровенного, мало кому доступного, о котором не каждый имеет понятие...

Розанов — примерный христианин, любящий церковные богослужения, лампадки, иконы и акафисты какой-то чувственной любовью, Розанов, торопливо крестящийся на молебнах, «мелкими, частыми крестиками» *, Розанов — консерватор и сотрудник «Нового времени» — именно благодаря своей гениальной интуиции является опаснейшим и мудрейшим критиком христианства...

Он сумел подкопаться под основы христианства, сумел увидеть, на чем оно стоит — и ужаснулся, и принялся вопить об этом во всеуслышание, стал надрывать над своими открытиями, потому что христианство направлено именно против того, что для него составляет святыню, потому что Христос и пол несовместимы и потому, что несовместимы — он вечно мучается и вечно страдает, ибо не может жить и без Христа, и без пола.

* «Точно так же он крестится, когда во время домашнего молебна старенький, седенький батюшка Всех Скорбящих⁴ подымает Владычицу на руки, а Василий Васильевич, по древнему народному обычаю, для получения наибольшей благодати, согнувшись почти до полу, как будто на четвереньках, пролезает под иконою» (Д. Мережковский, «Революция и религия»).

Именно этот невозможный синтез духа и плоти, который мучает Мережковского и Бердяева, — является камнем преткновения и для самого Розанова, только у последнего это не философия, а жизнь, самая обыкновенная реальная жизнь — и вот почему такой вопль, и такая энергия, и такое живоносное творчество!.. Розанов — философ, которого философия неотделима от жизни и вне жизни невысказана, это философ древний, это языческий философ, живущий природой, событиями жизни, мелкими дрязгами, семейною обстановкой и в них черпающий темы для своих размышлений...

Вечности для него как бы не существует, как не существует и будущей жизни, он и от Христа требует, чтобы Он вошел в эти его муравейники и домашние очаги и слился с ними, и пребывал в них, и освящал плодородие, и сквозил в любви и в поле, как древний Иегова — и это несомненно языческое свойство, и тем более оно странно, что никто со времен первых христиан не предъявлял таких требований ко Христу!.. Розанов первый задумал соединить языческое начало в человеке с христианским, но мысль эта оказалась сумасбродной, и оттого, что это оказалось несоединимым, — он особенно нападает и на христианство и даже на Христа... Оттого, что Христос не может освятить пола — Розанов не может примириться со Христом. И не потому, что пол невозможен в христианстве, а потому, что для самого Розанова кроме пола и семьи нет ничего, что бы было важнее их, потому что Розанов — безумный от жизни, обожествляющий жизнь и в ней только видящий свой храм, потому что божество Розанова — не Христос, а именно та человеческая плоть, которую преодолел Христос и которая для Розанова заменяет и небо, и ангелов, и будущую жизнь!..

Розанов — злейший враг всякого страдания. Кириллов разрушил мир в своем сердце именно за то, что в нем — боль и страх; Розанов делает разрушительные нападки на христианство за то, что оно культивирует боль и смерть, за то, что оно идет будто бы против жизни!.. Во имя этой жизни, во имя самого принципа жизни, — Розанов готов отречься от Христа... Такой безумной, религиозной любви к жизни в России не испытывал ни один писатель, такую любовь к плодородию и к семье испытывают только евреи, и в Розанове много еврейского (в смысле духовном). Иногда кажется, что Розанов смог бы жить без Христа одним своим половым пантеизмом, одним очарованием семьи и брака, но к счастью — это одна только видимость, Розанов оттого так и мучается своим бунтом против Христа, что жить без него не может...

Что же заставило вооружиться его против христианства и нанести на светлый и единственный Лик Христов темную тень несвойственного христианству мрака?.. Что побудило этого единственного по искренности чувства религиозного мыслителя, слушающего акафисты и молебны — заявить, что Христос не жизнь, а смерть миру?... Не кроется ли в этом какое-нибудь недоразумение? Не есть ли поход Розанова против Христа лишь соблазн дьявола и сумерки духа, отданного в рабство плоти?... И не сыграла ли эта последняя с ним злую шутку именно за безумную, крайнюю к ней любовь и привязанность?.. Ведь кто ослеплен, тот не видит того, что видят все...

Христианство не только победило жизнь, оно победило смерть, именно своим проникновением чрез нее в вечность оно осватило ее, для христианства нет смерти, а есть вечная жизнь (конечно, не во плоти, а в духе), это знают все, это знает всякий верующий христианин, это должно быть известно и Розанову. Но он как будто не сознает этой победы христианства над смертью, он вечно доказывает, что христианство есть пессимизм и уничтожение жизни. И это происходит оттого, что для него жизнь существует только во плоти, что смерть для него есть прекращение жизни. Но это взгляд неправильный. Розанова в этом отношении нужно признать материалистом... Но он материалист особенный, мистический, и плоть для него почти духовна, и пол для него есть дух...

Как и Кириллов, он верит не в будущую вечную жизнь, а в *здесьнюю* вечную, ему бы хотелось, чтобы человек жил на земле вечно, чтобы он рождал вечно, чтобы наслаждался всеми радостями вечно, смерть для него — гибель, страх, прекращение пола, именно потому он и вооружается против смерти... Но это — наивный материализм, это не христианское понимание смерти, а языческое... Для Розанова как бы не существует в человеке духа, дух весь для него воплотился в пол, и будь бессмертен пол, будет бессмертен и человек, ибо вне пола ничего нет. Пол есть дух, талант есть страсть, как и вдохновение есть страсть, кроме семейной жизни не может быть другого идеала. И нет жизни вне плодородия. Плодородие есть вечность и только в нем — залог бессмертия. Конечно, в данном случае христианство может казаться религией скопческой и смертоносной, а Христос — мраком. Но виноват в этом отнюдь не Христос и не христианство, а сам Розанов и его наивный материализм!

Христианство не есть мрак и не есть смерть, это ясно. Оно тем и сильно, что победило смерть, что даровало душе бессмертие, что осватило весь мир страданьем, и в страданье этом его главная

радость и немеркнущий свет... Но Розанову христианство потому кажется мрачным и пессимистическим, что он видит жизнь только в поле, потому что он боится страдания и не принимает его, потому что страдание ему чуждо и в нем он видит один только мрак... Во имя радостной, животной, беспечальной, сытой, безболезненной жизни он отвернулся от Христа. Ему, как и Кириллову, Христос кажется какой-то сплошной болью, какою-то невыносимой серьезностью, исключающей всякую улыбку, и смерть для него страшна и невыносима... Что-то бесстыдно жизненное, фанатически жизненное кроется в этом отношении Розанова к христианству. Это именно «человеческое — слишком человеческое»... Это именно узко-еврейская заботливость, исключающая своим душным житейским теплом, своим на веки вечные прикрепленным к земле практицизмом — всякие другие миры, всякую мечту, всякое дыхание вечности... Еврейство — это закрепощение человека земле, это страшное земное царство, царство сытого и довольного человечества, это микроб торжествующей животности и рационализма, это — точка, в которой дух уничтожается и заменяется плотью... Розанов именно приближается этой своей стороной к библейской религии плодородия и семьи — и именно этот библейский дух, эта иудейская зараза — сильно подействовали на мировоззрение Розанова и помешали ему оценить христианство с другой точки зрения, не плотской, а духовной, не материалистической, а метафизической...

Получается одно сплошное недоразумение: Розанов все время напирает на то, что самое опасное место христианства заключается в культивировании последним смерти и страдания, что в этом — гибель жизни и что в этом — смерть. Отсюда выходит вся его гениальная метафизика глубин христианства и его фанатическое превозношение плоти... Но с другой стороны — наглядно выступает другая несомненная истина, мимо которой проходит Розанов, истина, что *для христианства самой смерти-то не существует, что христианство есть вечная жизнь, что страдание для христианства есть могущественная и единственная радость!*... Таким образом, то, что открыл Розанов в христианстве, имеет разрушительную силу и опасность только для самого Розанова, с точки же зрения христианства оно не только не опасно и не губительно, но составляет его незыблемую и нерушимую твердыню, в которой залог его вечной победы и торжества!

Самая же боязнь смерти и страдания у Розанова чисто языческая, ибо христианин не боится ни смерти, которой для него нет, ни страдания, которое — радость!...

Языческая идея пола всецело заслонила перед Розановым другую истину — чисто христианскую, которая ему, как апологету жизни и рождения — совершенно чужда: истину, что *Христос смертью победил смерть*, что через распятие Христа мир получил новую радость — радость страдания, которую не променяет никогда ни на какое сытое благодущие, ни на какие животные радости человека, прикрепленного к земле!

Кириллова самая идея распятия Христа ужаснула, ему непонятна была та священная тайна, которая скрывается в этой идее, ибо он ужаснулся факта великой боли. Не мог примириться с тем, что все — боль и что сам Бог есть боль, что Христос есть освящение боли... Такого Христа он не мог принять. Ему, как Розанову, нужен был Бог радостный, Бог, принимающий жизнь без боли и боль уничтожающий... Ему не тайна мучительная была нужна, а вместо тайны простая арифметика. Но в том-то и сила и красота Христа, что он *должен был быть распят*, иначе мир истлел бы в пожизненной скуке своей. Только из страдания рождается истинная жизнь, а там, где нет страдания — там розановские идеалы торжествуют — там и здоровая жена, и вкусный стол, и много детей, и благодущие, и сытость, но там же и простая мещанская скука, целый кошмарный мир скуки, которого не в силах перенести человек. Христианство тем и велико, что подняло человека над землей, открыло ему тайну страдания — и в тайне этой преобразился человек — и нет больше скуки, нет больше пресыщения и мещанства, а есть нечеловеческий восторг и радость вознесенья, и сладостная боль!.. Христианство преодолело человеческое — и в этом *всё*. Христианство есть творчество не от мира сего, творчество духа... Христианство и плоть освятило вознесением духа. Но для него эта жизнь не цель, а лишь средство, сквозь земную тоску виден ему чертог небесного царства...

Розанов смотрит на Христа как на обыкновенного человека. Ему досадно, отчего Христос не женился и отчего не было у Него детей (!), он не может примириться со смертью Христа, с его добровольным распятием, *это ему чуждо*. В своем языческом ослеплении Розанов дошел до того, что требует от Христа человеческих качеств и вовсе не может понять, что именно с фактом распятия Христа совершилась всемирная великая катастрофа, что не будь этого распятия, миру не было бы чем жить, что тайна распятия есть также и тайна преобразования. Розанов восторгается, что творчество есть страсть, что талант есть половая сила, что все великие произведения писались силою страсти, что пол от творчества неотделим, но почему же он не хочет при-

знать, что в такой же мере, если не в большей — творчество рождается из страдания, творчество пропорционально степени страдания, что все великое, все гениальное создается силою страдания?.. Ему чужда трагическая сторона христианства, но все великое — трагично. Розанов хочет обесцветить, опошлить мир, исключив из него трагический элемент, страдание и боль. Розанов забывает, что без страдания все свелось бы к нулю, человечество задохнулось бы в кошмарном чаду вкусных обедов, полнотелых жен и куч детей и начало бы само истреблять все это, чтобы получить возможность жизни. Ибо жизнь только в страдании, и посредством страдания постигается и высшая свобода, и высшая тайна! Розановский идеал святости и безболезненности плоти, — в пределах жизни, на практике превращается в самую мещанскую комедию пошлости и середины. Он может жить иудейскими идеалами сытости и жизненной энергии, но эта способность дается не каждому, и не каждый может ее принять. В своем отрицании страдания Розанов дошел до черты, за которой начинается обыденщина и житейское.

Кириллову кажется, что, распяв Христа — мир победил Его, и, значит, все — обман и диаволов водевиль. Но это — грубое понимание и неверное. Именно потому, что мир распял Христа, он был побежден Христом, именно только из-за одного распятия человечество и получило ту новую жизнь, которую ради спасения своего не променяет ни на что. Ибо в страдании только возможна единственная жизнь.

Но Розанову страшно. Он, правда, далек от кирилловского признания, что все — диаволов водевиль и ложь, но ему страшно и непонятно. Ему страшно, что Бог распят, что Бог умер, он, как иудеи — требует от Бога грозного величия и непобедимости, ему страшно и непонятно то, что само по себе трагично и таинственно. Ему непонятно, почему Бог есть рыдание и боль, почему боль положена во главу мира, почему без боли невозможна жизнь...

«Сущность (христианства) везде одна, — говорит Розанов, — что мы умираем, и боимся, что умираем, и не понимаем, что такое это, что мы умираем, и восторг, что “с нами и за нас умер, наконец, и Господь”. Кончина Бога, Голгофа — вот невероятное случившееся, что и образует зерно, из которого выросло все христианство» *... «Господь в гробу! Какая ужасная тайна! Господь смотрит на человека из гроба! Какая тайна, как бесчувственен читатель, если он не содрогается. Как постижимы тогда св. мощи, которые ведь все вослед Господу благоухают из гроба и манят

нас к гробу же. Вот, где родник аскетизма, вот, где истинный его родник, а не в словах “лучше не жениться”» *... «И тогда оба явления, и сон и отречение, суть только лучи, только частицы одного потрясающего события, уже шедшего в мир: *смерти Бога среди людей и от людей!* Как это ужасно! Еще каинство человека, еще убитый в нашем доме, на нашем поле Авель! и какой Авель!» **.

Почему ужасно? Почему страшно? Неужели Розанову непонятна та великая *животворящая* сила, которая скрывается именно в этом событии? Неужели не знает он, что не его «пол» может спасти мир и не его ветхий завет, а именно это распятие, эта скорбь, эта великая вила страдания? Он подходит ко Христу с одной только стороны — человеческой, и вот именно эта реновская точка зрения мешает ему понять, что Христос не только человек, что Христос преодолел человеческое, что человек не цель в христианстве, а лишь оболочка духа, лишь переход к другой, высшей жизни, переход от тела к духу? Конечно, если подходить ко Христу как к человеку — то вполне уместен и этот ужас, и этот страх. Но, может быть, именно в факте распятия Христос перестал быть человеком и стал Богом? Может быть, само-то распятие, сама боль не есть ужас, а нечто священное, и страдание именно потому так и желательно, что составляет божественный акт?.. Но Розанов этого знать не хочет, ему невыносимо сознавать в Боге боль, и оттого, что он почувствовал эту боль во Христе, самый Лик Христа кажется ему темным и мрачным, он хотел бы, чтобы этот Лик улыбался той бессмысленной, вечной улыбкой, которая у индусских и китайских божков... Ему непонятно, что скорбь Христа вовсе не исключает улыбки, но эта улыбка для Христа не главное и не может быть главным! Ему больно, что главное — скорбь!

Лик Христа всегда затемнен Розановым. Он как бы нарочно хочет сгустить пессимистические краски христианства, подчеркнуть смертоносную силу этого Лица. И это оттого, что Розанов весь житейский, весь погружен в суету, в обыденщину, в вопросы пола, а после этого, конечно, ему непонятно и странно, как люди могут до того возлюбить скорбь, до того проникнуться очарованием Лица Христова, что уже не радуют их ни здоровая жена, ни множество рожденных, рождающихся и еще нерожденных детей, и всевозможные гастрономические соблазны!.. Для Розанова жизнь только в этом, для христианства — не только в этом. Для Розанова пол важнее Христа, важнее истории, важнее

* «Темный Лик», с. 95.

** Ibid., с. 4.

смерти, для христианства пол или вовсе не важен, или мало важен. Ибо если бессмысленна и кошмарна жизнь, если давит тоска, если человек иззяб от тоскливой стужи, то лучше вовсе уничтожить самое зерно жизни, нежели любить бессмысленную и животную жизнь только за то, что она — жизнь!

Розанову монастырский экстаз кажется «тяжелым», в монашестве и аскетизме он не видит ничего, кроме самозакапывания и положения в гроб. Ему непонятно, что есть люди, которые ради Христа отвернулись от мира, прокляли мир, ушли от него, он возмущается, когда Лик этот своей «испепеляющей красотой» убивает человека, делает его неспособным к жизни... Здесь языческое начало сильно сказалось в Розанове. Ему вовсе не понятно, как можно отвернуться от жизни, если она так прекрасна. Он с ужасом погружается в бездны христианства и везде его мучает вопрос: почему Христос убивает пол? Почему Христос несоединим с плотью? Но он забывает, что именно в этом аскетизме, в этом погружении плоти в тайну Христа, в этой неизреченно-прекрасной скорби и заключается истинная жизнь для христианина и что кроме этой жизни другой ему не нужно, ибо царство его не от мира сего!

«Все померкло в лучах нового сияния, — заявляет Розанов, — еще раскрылось небо, после Ветхого, после обрезания — и новый совсем голос послышался оттуда. И вдруг не стали мне нужны царства, боги, игры. Состроган гроб. “Куда ты смотришь, старче?” — “В гроб”. — “И?”... Но нет “и” соединительного, другого: конец, пришло окончательное и оконченное... В суете земной позабыл “темный лик в углу”, и вдруг — друзья, жена, дети. “Тебе тяжела ноша, давай понесем вместе”. И ведь смеются, весело. — “Тебе легко, а нам легко оттого, что тебе легко”... — “Погодите, — говорю я, — не то”... И вспомнил Лик в углу, и стали мертветь друзья, дети, жена, и как будто пар и туман вместо людей, и вот рассеялся вовсе. Теперь я один и ужасно крихчу, ноша совсем меня придавила» *.

Но ведь именно здесь-то и начинается христианство и кончается язычество, именно здесь-то и начинается чудо... Но Розанову нужно вовсе другое, ему нужна Библия, и Новый Завет ему не под силу. И не потому, чтобы он был ему чужд (может быть, никто так глубоко и любовно не понимал Евангелие, как Розанов), а просто не по силам он ему. Его душа не здесь. Его душе гораздо понятнее и роднее слова Иеговы: «плодитесь и множитесь», чем таинственные и полные еще неизведанного смысла слова Христовы: «возьмите иго мое от меня и научитесь от меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко»...⁵

* В мире неясного и нерешенного», с. 222.

В этом постоянном колебании между Ветхим и Новым Заветом, в этом перебегании от Моисея к Христу и от Христа к Моисею заключается главная и характерная особенность розановской религии... Ему неприятны мрачные лики православных икон, ему жутко от русских монастырей, жутко от смерти, которую якобы проникнуто христианство, он иногда (как, напр<имер>, в статье «Христос — Судья мира»⁶), с чисто искаротской злобой издевается над Христом, упрекает Его в жестокости, как бы желая отомстить этим за то, что Он сыграл такую громадную и мучительную роль в его жизни, он всячески старается очернить христианство и в «Темном Лице» и в «Людах лунного света» кажется каким-то не то «отрицателем», не то из «антихристов»... Но как бы он ни преуспевал в своей беспощадной и часто весьма ядовитой критике христианства, до какого бы отрицания и бунта ни доходил в своих писаниях — все же он не «отрицатель» и не «антихристианин», а самый искренний, самый православный христианин в наше время... Помню, я был очень удивлен, когда после одной из своих публичных лекций, в которой я назвал Розанова язычником — я получил от него письмо со следующими словами, глубоко врезавшимися в мою память: «а знаете, что я больше христианин, чем язычник и экстаз (особенно половой) мне вовсе чужд. И я люблю вечерний звон, и всенощную, и “свете тихий”... Я вообще не похож на свои сочинения»... Тогда это признание меня удивило. Теперь, ближе познакомившись с розановским творчеством, с особенностями его душевного склада — я вовсе не удивляюсь. Я знаю, что есть два Розанова: один — язычник, обожествляющий пол, поклоняющийся «святому животному», а другой — искренно верующий христианин с своей трогательной и детской любовью к лампадам, акафистам, вечернему звону и всему церковному, ко всей церковной обстановке, богослужениям, священникам и дьяконам.

Этот последний Розанов гораздо ближе и роднее мне. Он знает все ядовитые истины, знает водоворот бездн в христианстве, знает минуты сомнений, падений и соблазнов Иуды, ибо он живой человек и ничто человеческое ему не чуждо, но также знает он ту тайну, которая ведома и мне: что никакой человеческий разум, никакой анализ, как бы он ни был гениален, никакие искушения, никакой демон не в состоянии поколебать любви к чуду, любви именно к тем темным образам, которые кажутся символами смерти, и которые исцеляют, творят чудеса, творят другую, недоступную для разума человеческого жизнь, любви к церкви, без которой невозможно жить, которая уничтожает сытую скуку мещанства, которая сияет огнями и полна пречистого

и животворного света, любви к тайне Христовой, которая вечна и вне которой — суета и мрак.

Именно у *этого* Розанова вырвались однажды знаменательные слова в минуту самого беспощадного анализа священных тайн, детская, чистая вера вспыхнула в отравленном разумом сердце, и Розанов-язычник хоть на минуту, да был побежден и обезоружен:

«Боже, да ведь эти толпы, здесь, везде, их тысячи, миллионы... они непременно *помешались* бы от страха, безнадежности, от несчастья, от *действительного горя и действительной боли*, если бы им не добрести вот сюда... и если бы они не знали, *что есть место, куда — добредут, и Бог услышит*. Если бы вдруг перед ними... закрылось все...

Какой ужас!

Тьма, ночь и отчаянье.

.....

И да сияют Образа эти вечно. Ибо уже лучше пусть померкнет *ум*, нежели чтоб погасла жизнь.

И если даже мы *всё* “поймем”, то самое это “понимание” бросим в огонь» *.

Все усилия Розанова были направлены на разрушение церкви, но в сущности — он ею жил, она была его жизнью даже тогда, когда он ее разрушал, и в этом его особенность. Еще недавно Розанов открыто в этом признался. И сколько глубокого смысла в этих его словах, только русская душа может их понять, только ей может быть так мучительно дорога идея церкви:

«Церковь, — признается Розанов, — есть единственно поэтическое, единственно глубокое на земле. Боже, какое безумие было, что лет 11 я делал все усилия, чтобы ее разрушить.

И как хорошо, что не удалось.

Да чем была бы земля без церкви?

Вдруг обесмыслилась бы и похолодела.

Цирк Чиннизелли, Малый театр, Художественный театр, “Речь”, митинг и его оратор, “можно приволокнуться за актрисой”, тот умер, этот родился, и мы все “пьем чай”: и мог я думать, что этого “довольно”. Прямо этого я не думал, но косвенно думал» **.

Розанов и к церкви относился все время отрицательно, так как не находил в ней живой души, живого организма, а только казенное учреждение. Для Мережковского, Философова и Булгакова это обстоятельство послужило причиной их невольного

* «Люди лунного света», с. IX.

** «Уединенное», с. 25.

отпадения от казенной церкви, что же говорить о Розанове, с его ненавистью ко всему вечному, внежизненному, с его безумной любовью к свободной жизни, к жизни без рамок и без условностей? Ему становится душно в церкви, его языческий экстаз, его страсть к полным полножизненного символизма богослужениям и жертвам, его привязанность к природе, к освящению природы в молитве, его дремлющие в глубине симпатии к языческим славянским празднествам, когда храм был природой, пляски, жертвоприношения и обряды — молитвой, а цветы, поля, небеса и животные — образами, его врожденный пантеизм, его идея человекобожества — все это, конечно, не могло найти себе места в православной церкви, все это чуждо ей и неприемлемо ею, ибо церковь есть защита от жизни и спасение от нее, ибо церковь есть столп и утверждение истины, корабль, уносящий все здешнее в вечность, чудесная пристань, где бурные воды житейские замирают в блаженном предчувствии покоя, вознесения, молитвы... Церковь не могла принять в себя интеллигенцию и слиться с нею, ибо это значило — изменить своим вечным традициям, это значило отдать дань князю мира сего, войти в суету мирскую, в грязь и пошлость житейскую. Но церковь должна быть выше жизни, это башня над пропастью смятения и тьмы, башня, в которой — одно и то же чудо от века. В ней все должно быть неизменно и свято от века. Там, около нее, в водовороте житейской тьмы кружится жизнь, раздаются вопли и стоны, проклятья, крики погибающих и ликование победителей, и море крови, и море слез, и море вражды, ненависти, животного бессилия и смерти — все сливается в грязно-кровавый океан жизни, но волны его разбиваются о каменные скалы церкви и отхлывают назад, и ничто не в состоянии поколебать их, и ничто не в силах повредить ее железную твердыню. И церковь возвышается над жизнью, как чудо из стали и мрамора, и в церкви — тишина и глубь, и восторг безмятежности, здесь мертвые оживают и живые становятся мертвыми для мира, здесь душа отделяется от тела, здесь спасение и вечная жизнь во Христе и победа над миром, здесь страшная и нераскрытая тайна — и взглянешь на нее — и не надо жизни, не надо человеческого царства, ничего не надо, и как ненужная чешуя — отпадает от человека все житейское — и вот именно этой вечной победой над миром, этим уничтожением жизни и всей суеты ее во Христе, этим слиянием души человеческой в таинствах с миром горним, с миром вечным и чудным, этим презрением своим к земле, — жива, святая и вечна церковь, и в этом ее сила, и врата адовы не одолеют ее никогда!..

Но Розанову именно эта вечная неприступность церкви и ненавистна, ему хочется, чтобы она снизошла до человека. осветила его пороки и нужды, освятила ту плоть, от которой отрелась навеки, освятила всю землю, как языческие боги освящали природу пребыванием в ней.

Розанова поражают *мертвенные* черты православной церкви, ему хочется кричать от изумления, от вечного непонимания, отчего так измучены и скорбны лики ее святых, отчего самый символизм церковных богослужений так вял, серьезен и как бы выточен из трупного очарования, отчего песнопения ее, молитвы, весь дух ее — рыдающий, скорбный, как бы возносящийся на крыльях от земли, вздыхающий, отчего все православие — это восторг боли и смерти, любовь к Богу в слезах, безутешная грусть, неизреченность жертвенного экстаза, отчего сама жертва в таинстве как бы внежизненна, отчего все христианство — одна вода горьких слез, а крови, жизни и плоти в ней нет?

И вот, он входит в церковь, служит молебны, истово крестится, бьет поклоны — и ему понятна и близка эта красота, он любит ее, он восторгается ею, и ему понятна чудная ночь пасхальной заутрени, единственная по своей чудесности ночь в целом мире, и душа его замирает в восторге при виде этих пасхальных огней, белых риз, белых платьев, цветов, и он думает «как это хорошо, что в церкви все мы братья. И пойдем вместе, за хоругвями, придерживая ладонью огонь свечи от дуновений ветра. И будем слушать пение. Да, как хороша религия, в звуках, в красках, в движениях, с иконами, с большими непременно иконами, в золотых ризах, а еще лучше — в жемчужных, как в Успенском соборе в Москве, и с огнями. И пусть огни будут в руках, перед образами, на улице, особенно на колокольнях» *.

И он сливается всею душою с чудесным настроением пасхальной ночи, как нередко сливается и со всей душой православной церкви, но здесь-то и выступает наружу его характерная особенность; он не может скорбеть, не может пребывать в бесплотности, в отрешенности, в бесстрастном православном смирении, его языческая натура кипит в нем, бушует, рвется наружу — и в самое церковное его настроение врывается опьяняющая струя невозвратной весны человечества, и вот он — сам весенний, он забывает, что он в православной церкви, на развалинах древнего мира, он живет в своих вдруг оживших мечтах, и сквозь церковную обрядность просвечивает языческая красота, любовь к свя-

* «Около церковных стен», т. II, с. 4.

ценным жертвенным огням, все очарование древних жертвоприношений, вся жизнь природы, и земли, и неба, и звезд. Как в зачарованном сне, Розанов подходит к образам, зажигает свечи, любит, как горят огни, чувствует в огнях и трепет души, и брожение крови, и теплое дыхание плоти, и душа его где-то далеко, не в церкви, ему грезится древний языческий храм, и песни, и царица земля, и хороводы, и оргии... В странном сочетании языческого и церковного красота невысказанная, красота опьяняющая, и хочется молиться и украшать свечами иконы, и все больше и больше огней, и в огнях — трепет души — молодой, весенней, и чары священной страсти, и вздохи любви, и вместе с тем — хочется забросать церковь свежими полевыми цветами, запеть что-то свое, такое радостное, такое страстное, такое волнующее, чтобы и эти нахмуренные старцы в ризах, и эти истощенные святые, и все молящиеся — вдруг почувствовали чудесный ритм жизни, жгучий, страстный, истомляющий, «брачный ритм», и началась бы пляска, и ликование, и поцелуи, и влюбленная нежность, и кружение в море цветов, молодых, стройных тел, и улыбки, и тайна, и слились бы в одной неизреченно сладостной гармонии Христос и Дионис, плоть и душа, любовь и молитва!..

В этих ярко пылающих огнях церковных, огнях — символах души возносящейся перед иконами — Розанову чудится пробудившийся вздох древности, и душа его пропадает вдруг в безднах веков, в лазурной безмятежности, в тех временах, когда люди не знали религии смерти, когда тело было храмом, а жертва — кровью и распятием в любви... И он славит огонь, священный огонь, огонь древности, вдруг снова оживший в церковных свечах — и как жарка молитва к огню! Огонь — символ плоти, символ любви, пламенное жало тоски и блаженства в тоске!..

Но душа тоскует по жертвенной, кровной, плотной слиянности человека с Богом, душа видит в церкви угасшую плоть, душа надрыдается оттого, что церковь бесплотна, бескровна и водяниста, и снова в этой душе восторженный вопль язычника, такой необычный в наше усталое время безжизненности и умирания: «мы потеряли кровный, родной путь к Богу в таинственных древних жертвах. Настали бескровные жертвы, водянистые, риторические, мы будто бы сокрушены в сердцах, а на самом деле обделываем свои делишки... Кровь есть *жизнь*, кровь есть *растущий* факт, кровь есть *источник сил* и *сильного*. Религия, взявшая кровь в нить соединения своего с Богом — и была *жизненна, растуща* и *реальна*. А вода — она и есть вода».

Розанов как бы реально сочетается с Богом, как бы *плотски* ощущает Его, чувствует Его, и это пантеизм языческий, это именно та мистическая реальность Бога, о которой говорят в наше время. Этот реализм, отсутствующий в христианстве — он у Розанова и плотский, и вместе с тем — живо-мистический, почти *животно-мистический*. И какая разница между этим теплым, кровным реализмом его веры и рассудочным «мистическим реализмом» Бердяева! «Если Бог, — говорит Розанов, — не есть Существо, физически *зрящее* и физически *обоняющее*, то для кого в церквях мы жжем *свечи* и *ладан*? Для себя? Себе угождаем? Ибо, очевидно, “Богу Духу” ни света, ни запахов (ладана) не нужно. Между тем погасите в церкви свечи и лампы и зажгите курительницы, как глубоко померкнет храм! А и свечи, и *ладан* — явный *остаток*, уже бессмысленный у нас, древнего, реально-кровного теизма!»*.

Как относится Розанов к нашим праздникам! Ведь и в этом сказалась его связь с язычеством: для нас эти праздники один сплошной кошмар сытости, пошлости, пьянства, пустоты душевной, в эти праздники зевает и разлагается душа, мы не чувствуем символичности праздников, не чувствуем, не переживаем тех событий, в память которых они совершаются. Только у язычников (и между прочим, и у древних славян) праздники были особенной *жизнью*, мистическим переживанием, чем-то необычайно радостным, необычайно — торжественным, и душа вся была радостно настроена: — эти танцы, хороводы, песнопения, это обожествление природы, остаток которого доселе удержался на Руси — все это свидетельствует о кровной связи человека с природой и с Богом, все это говорит о каких-то торжественных мистериях, непостижимых современному иссушенному и измочаленному «культурному» человеку!.. Любовь Розанова к христианским праздникам, их любовное и глубокое понимание отзывается тоже язычеством, ему хочется воскресить хоть в этом радостную зарю человечества, этот опьяненный природой, ликующий дух, который омертвел в цепях христианской догмы. «Хочу для пильщика рощ, лугов, цветов, музыки! — восклицает Розанов, упрекая духовенство в сонном унынии и угрюмости, — буду яростен и скажу прямо, что пильщику нужны “языческие священные рощи” и смычок, положенный на скрипку, и наконец — девушки, хороводом взявшиеся за руки, — и не меланхолические, а с сочными губами, высокими бюстами, широкими бедрами! Нет, я тоже хочу быть жесток и закричу: “Шехерезаду, Шехерезаду”!»

“Дайте нам сады, и дев, и рощи, и леса, и благоухания цветов, и манящую к восторгам музыку!” *.

Отсюда его безмерная любовь к природе, этот восторженный пантеизм, который совершенно иссяк в христианстве и который то и дело прорывается у него в виде жарких гимнов нашим русским дремучим лесам, земле, солнцу и звездам, особенно звездам — символам жертвенных огней, этим лучезарным очам небес... И Розанов рвется снова из кельи монастыря, из душевной церкви, из городов, пропитанных заразой культуры и литературы — синонимов одной и той же пошлости — рвется к далекому прошлому, невозвратному, погибшему, где его душа, где его мечты, где его любовь:

«Уйди на всю жизнь в леса, к звездам, к утреннему солнцу, к живительной росе, проводи рукою по этой холодной росе на заре, или, поднявшись на пригорок, следи, как солнце садится в купы деревьев — и так сегодня, завтра, всегда, — и душа очистится, станет прозрачна, как слеза росы на зелени, без мути в себе, без пыли в себе. Она сольется с природой, сделается от нее неразличимой. И природа как бы уже прижизненно берет в себя такого человека, как она вбирает всякого после его смерти. И тогда придут к такому человеку животные, не боясь его, даже любя его, даже понимая как-то его, — и он их постигнет новым постижением» **.

Язычеству чужд догматизм, его религия внедогматична и сами символы ее как бы плотские, как бы живут, как бы составляют плоть и кровь, ибо эта религия больше чувственная, больше кровная и жизненная, нежели разумная. Догмат — первый признак рационализма, и весь христианский догматизм рационалистичен. Розанов единственный мыслитель в современном «неохристианстве», который пошел против догматики — и в этом также особенность его мировоззрения. В то время как для Мережковского догмат является чем-то неизбежным, какой-то единственной броней, алмазным мечом защиты, в то время, как для Бердяева догмат — истинное высшее переживание, нечто граничащее с безумием — для Розанова догмат — звук пустой, богословское изобретение, мертвая буква, уничтожающая чувство в религии, которая должна быть свободна, радостна, таинственна и для которой не может быть никаких формул. «Позвольте, — возражает Розанов и богословам, и Мережковскому, и Бердяеву, — зачем же великолепное слово Евангелия переделывать в сравнительно гнилое слово догматики?.. Ведь догмат — нечто каменное. Хрис-

* Ibid., с. 304–305.

** «Темный Лик», с. 32–33.

тианство в отцах церкви и в построениях догмата потеряло *наивность и прелесть*, трогательность и силу *привлечения*... Христианство перестало быть *умилительно* с догматом, и на него *перестали умиляться*. Просто его *перестали любить*... Самими догматистами введен был в христианство главный и первоначальный яд... Догмат закрыл все три лица Пресвятой Троицы, самого Христа обратив в начетчика, который принес на землю только кучу текстов... Иногда поднимается вопрос или слышатся намеки на какую-то реформу Церкви: нет для этого более надежного и краткого средства, как закрыть в академиях и семинариях две кафедры — догматического богословия и канонического права, а книги по наукам этим поместить в список “неразрешенных к чтению”. Это значит сразу закрыть для публики сотни Скабичевских и открыть ей Пушкина, в отношении к христианству — это значит начать вдыхать “душу живу” в красную глину, из которой слеплен, ожил было и снова умер — “во грехах” — Адам Христианства» *...

Это презрение к догме есть отвращение человека ко всякой мертвечине. Розанов хотел бы все христианство, все богословие продать за живую, радостную, кипучую, плотскую жизнь. Его богом был пол — и во имя освобождения пола от смерти, во имя бессмертия не в вечности, а на земле, во имя возврата древней угасшей библейской жизни он готов был отдать всю свою душу... Он нарочно молчал о смерти, он проклинал ее всеми силами языческой своей души, он рад был бы вычеркнуть из человеческого лексикона это ужасное, непонятное, грозное слово, которое так возлюбило христианство, из которого извлекло свою жизнь и свою вечную, ненавистную ему скорбь... Он гнал от себя слезы и грусть и трагедию, жил только радостью и презирал страдание **, и думал, что этим победил жизнь и победил христианство!..

Но вот в своей книге «Уединенное», искренно-обнаженной книге души, по ошибке изданной и уже втопанной в грязь толпой и газетчиками, Розанов как бы кается в своем безумном дерзании. И какая скорбь, какая зловещая искалеченность в этом его покаянии, какое бессилие перед смертью, какая растерянность перед вечностью, какая боль от внезапно присосавшейся тоски!.. Только теперь он понял, что, игнорируя смерть и

* «Об а-догматизме христианства».

** В одном письме ко мне он пишет: «Вот вы пишете о страдании, о смерти, а я прожил 56 лет и написал 11 книг, и только теперь завизжал от этих вопросов»...

превознося плоть, он тем самым обрекал себя на близкую и беспощадную смерть, что его писания, его половой пантеизм, его критика христианства, — в сущности, ничто перед смертью, которая одна страшна, одна непобедима, одна ужасна. «Я говорил о браке, браке, браке, — признается Розанов, — а ко мне все шла смерть, смерть, смерть» *...

В этом признании — все его поражение и вся суть его: именно потому, что он игнорировал ее, смерть пришла к нему и заглянула в глаза, именно потому, что он отвернулся от христианства — религии смерти — последняя и ужаснула его...

В «Уединенном» у Розанова еще хватает духа заигрывать со смертью, дразнить ее всяческими шутками и прибаутками, но это уже не то, что было прежде; по временам пронзительная горечь прорывается в его словах — и куда-то уходит все его «дерзание», вся его торжествующая плотскость, весь его языческий дух — и тогда перед нами живой, страдающий человек, со всей своей обнаженностью, со всей беспомощностью и тоской, человек, прошедший мимо христианства, забывший, что есть смерть, а теперь вдруг понявший, почувствовавший, что смерть одна-то и есть, что никакая радость не в состоянии ее уничтожить, что смерть — альфа и омега жизни, таинственный призыв, тайна тайн, что смерть есть единственная реальность, которую, когда почувствуешь, теряешь всякий ум, всякую способность философствования, всякую силу, всякую уверенность в себе...

И вот Розанов, прежде так проникновенно и гениально говоривший о браке, вдруг резко переменяет тему своих размышлений и говорит уже о другом, совсем о другом, мимо чего проходил прежде с гордостью и с презрением... И странно слышать об этом именно от Розанова, слишком уж это не в розановском духе:

«Могила... знаете ли вы, что смысл ее победит целую цивилизацию...

Т. е. вот равнина... поле... ничего нет, никого нет... И этот горбик земли, под которым зарыт человек. И эти два слова: “зарыт человек”, “человек умер”, своим потрясающим смыслом, своим великим смыслом, стоющим... преодолевают всю планету, и важнее “Иловайского с Атиллами”.

Те все топтались... Но “человек умер”, и мы даже не знаем, кто — это до того ужасно, слезно, отчаянно, ...что вся цивилизация в уме точно перевертывается, и мы не хотим “Атиллы и Иловайского”, а только сесть на горбике (†) и выть на нем униженно, собакоу...

О, вот где *гордость* проходит.

Проклятое свойство.

Недаром я всегда так ненавидел тебя» ...

* «Уединенное», с. 261.

Таким зловещим дыханием смерти проникнута почти вся эта странная и *единственная* по искренности книга... И в ней именно начало трагедии Розанова. Все русские мыслители, как мы видели, полны этого трагического духа, этого вечного недоумения перед смертью, из которой рождается и их философия, и их религия... Только один Розанов был радостен и «бодр», только для него одного смерти как бы не существовало... Но смерть и русская душа неразлучны и нераздельны, но кто понимает эту чудесную легенду русской мировой скорби, кто чувствует и слышит дыхание русской земли и тоску ее — тоску-вдохновительницу — тот не может пройти мимо смерти, тот не может не понять, что именно за то мы и возлюбили и Христа, и религию, что вечно преследует нас призрак смерти, что некуда от нее скрыться, что вечно мучает жажда бессмертия, мучительная жажда понять, что такое смерть, к чему она и зачем тогда жизнь?

Понял это и Розанов. И язычник вдруг стал подлинным христианином. И новая мысль, никогда не приходившая в голову, вдруг сверкнула в мозгу зловещим холодным огнем нового трагического сознания:

«20 лет, как журчащий свежий ручеек, я бежал около гроба.

И еще раздражался: отчего вокруг меня не весело, не цветут цветы. И так поздно узнать все»...

Но эта мысль вовсе не поздняя. Я глубоко верю, что это — признак выхода Розанова на новый путь, путь возврата к христианству, путь к новым глубинам, которые он нам открывает.

